

# Синдром Пимена, или Зов истории. О дневниках военных лет

Памяти Николая Богомолова



*Павел Маркович Полян (р. 1952) – географ, историк и (под псевдонимом Нерлер) литератор. Профессор, директор Мандельштамовского центра НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института географии РАН.*

## СИСТЕМАТИКА ЭГО-ДОКУМЕНТОВ И ДНЕВНИКИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

**У**стная передача – из поколения в поколение, от отца к сыну и так далее – удел бесписьменных кочевников и залог почти неизбежной утери. Оседлые народы, породившие письменность и догадавшиеся, на чём им писать (каменные плиты, глиняные таблички, пергаментные свитки, береста, бумага, мониторы) и чем (зубильце, острое клинка, тушь, чернила, клавиатура), ставили на материальность памяти и долговечность письма и не ошиблись, даже по своему исчезновению оставив вытиснутый исторический след.

Между наскальной живописью, папирусами, глиняными табличками и берестяными грамотами, с одной стороны, и современными архивами и библиотеками, в том числе электронными, с другой, – неоспоримая связь. Зарождение, формирование и эволюция архивов как институции – увлекательная тема, но не наша. Наша же – это наполнение архивов и библиотек.

С чем чаще всего сталкиваешься в том или ином архиве? С нормативным документооборотом служебного, то есть государственного или корпоративного, происхождения, как то – приказы, указы, отчеты, докладные записки и так далее, и тому подобное. На другом полюсе эмпирического обеспечения его работы – документы личного происхождения, или эго-документы. Последние могут храниться и в государственных архивах, в частности, в их личных или коллекционных фондах, но все же чаще они остаются у авторов по домам, в семьях, что с каждым новым поколением повышает риски их физической утраты. В этом смысле нельзя не отметить такие важные для аккумуляции эго-документов российские проекты, как центр документации «Народный архив» Бориса Илизарова<sup>1</sup> или центр изучения эго-документов «Прожито» Михаила Мельни-

**1** См.: Центр документации «Народный архив»: справочник по фондам. М.: Народный архив, 1998. Сам архив начиная с 2006 года недоступен исследователям: собранные им фонды складированы в Российском государственном архиве новейшей истории и официально проходят процедуру описания.

ченко, с 2019 года существующий при Европейском университете в Санкт-Петербурге<sup>2</sup>. По-своему символично, что именно «Народный архив» сподвиг Йохена Хелльбека на монографию о дневниках советских людей межвоенного времени 1920–1930-х годов<sup>3</sup>.

ПАВЕЛ ПОЛЯН

СИНДРОМ ПИМЕНА,  
ИЛИ ЗОВ ИСТОРИИ...

Важнейший критерий систематики эго-документов – это соотношение формирующих их временных потоков: проживаемого (авторского) и воспоминательно-повествовательного. Если текущее авторское время и время описываемых событий совпадают, то автор – это автор и никто иной, а его текст – дневник или записная книжка, образчик текстов из условного «*семейства синхронных*». Если же они не совпадают и автор ретроспективно повествует о событиях, уже прошедших, состоявшихся и даже отстоявшихся, о событиях, отстоящих от времени своего описания на десятилетия, годы или хотя бы месяцы, то это, условно, «*семейство апостериорных*», или мемуары. В таком случае, даже говоря от первого лица, автор говорит уже не сам, а устами некоего «лирического героя», погруженного в его, авторское, прошлое – наподобие электрода в насыщенный соляной раствор.

**Народы, породившие письменность и догадавшиеся,  
на чём им писать и чем, ставили, на материальность  
памяти и долговечность письма и не ошиблись,  
даже по своем исчезновении оставив внятный  
исторический след.**

Кстати, и сама дистанция между этими двумя временами – важнейший внутривидовой параметр: к тому, по горячим или по холодным (остывшим) следам написаны воспоминания, весьма чувствительны их достоверность и качество. Так, многочисленные письма советских военнопленных, написанные в 2000-е по просьбе берлинской организации «Контакты / Kontakte», в большинстве своем крайне мало информативны.

Ведение дневников, фиксация внешних и внутренних событий, размышления и комментарии по их поводу – это общечеловеческий феномен, свойственный всем цивилизациям. Хроники, летописи, дневники, записные книжки суть разно-

2 См.: <https://prozhitto.org>. До этого существовал как специализированный портал оцифрованных дневников, созданный в 2015 году (ФРЕЙМАН Н. «Прожито»: чужие дневники, которые нужно и можно читать // Филантроп. Электронный журнал о благотворительности. 2017. № 8 (<https://philanthropy.ru/heroes/2017/08/17/53453/>)).

3 ХЕЛЛЬБЕК Й. *Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи*. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 7–14.



видности дневников – узлы индивидуальной и одновременно универсальной памяти. Соотношения между этими жанрами таковы. В хронике события лишь фиксируются, но не рефлексируются. В дневнике эта рефлексия уже имеется и, как правило, превалирует. В летописи – автор присваивает себе не личную, а историческую субъектность и оценочность, выступает и судит не от себя, а от лица целого народа, страны или корпорации. При таком подходе естественна известная деперсонализация автора, когда им может быть не обязательно один человек, а несколько, друг друга сменяющих или замещающих – коллективный Нестор так сказать.

Классические дневники сегодня, похоже, отмирают, точнее, трансформируются и растворяются в форматах новейшего – интернетного и онлайнного – времени. Наивно полагать, что при переходе с бумажных носителей на электронные жанровая суть дневника останется неизменной. Как интимное произведение без какой бы то ни было читательской аудитории (кроме самого автора) в моменты своего создания дневник сегодня становится все большей и большей редкостью. Его теснят посты в социальных сетях, уже немислимые не только без целевой аудитории, но и без монетизированной борьбы за нее<sup>4</sup>.

Именно дневники и их внехронологическая разновидность – записные книжки, с одной стороны, и воспоминания, с другой, – традиционно являются важнейшими и наиболее распространенными типами эго-документов. Но и не единственными, разумеется. Промежуточной формой между дневниками и воспоминаниями являются реконструированные дневники, такие, например, как виленский дневник Маши Рольникайте или одесский Люси Калики, – утраченные<sup>5</sup>, но восстановленные ими по памяти.

Своя пограничная зона имеется и между мемуарами и прозой. Ярчайшие примеры – «Бабий Яр. Роман-документ» Анатолия Кузнецова или «Нагрудный знак “OST”» Виталия Семина. У Кузнецова ярко выраженная биографичность органично продолжена и проложена аутентичными документальными вставками – как бы в оправдание подзаголовка, – художественность же, выраженная не менее ярко, явлена в стилистике и композиции книги<sup>6</sup>. У Семина же это почти не замаскированные воспоминания с измененными именами (в первых, журнальных, версиях это было даже более откровенно). Вместе с тем пси-

**4** А где такая борьба, там появляются и технологии, там жди мошенничества и контрафакта.

**5** Дневник Рольникайте был потерян, когда сама она была уже без сил, а дневник Калики, по ее утверждению, истлел от сырости в подвале, где он писался.

**6** Кузнецов А. *Бабий Яр. Роман-документ*. М.: Астрель, 2010. Напластования этапов формирования текста, возникшие благодаря сильнейшему цензурному давлению, делают эту документальность особенно выпуклой.

хологизм наблюдений и обобщений, как и отточенная пером прозаика стилистика, свидетельствуют о том, что перед нами именно проза, а не замаскированные мемуары.

Основания для систематики эго-документов могут быть и другими. Например, эго-документы монологичные (и тут дневник и мемуары уже не врозь, а вместе) и диалогичные (например переписка, интервью, чат, допрос или – новейший тренд – слитая в СМИ «прослушка»).

В условиях войны практически вся переписка советских граждан подвергалась жесткому цензурированию – как на контролируемой советской властью территории, так и на неконтролируемой (в оккупированных областях или в самом «рейхе»). Поэтому те же письма (точнее – открытки) остарбайтеров на родину, сами по себе сохранившиеся в немалом числе, представляют собой, как правило, ограниченный интерес: найти среди них свободное, неподцензурное слово непросто. А военнопленным (советским военнопленным) роскошь какой бы то ни было переписки и вовсе не причиталась<sup>7</sup>.

Определенный смысл есть и в различении носителей эго-документов, особенно для апостериорных: изначально письменные ли они (с различением собственноручных и списков других лиц) или транскрибированные с устных носителей (записи на магнитофон или диктофон, аудиointerview, та же «прослушка»). Кстати, безличный служебный документооборот, в особенности карательных органов, нередко содержит своего рода эго-вкрапления – цитаты из разного рода эго-документов третьих лиц. Например, следственные дела – выдержки из донесений сексотов (доносов), наружного наблюдения и ответы допрашиваемого.

На фоне серьезного рассмотрения Ириной Паперно<sup>8</sup> в качестве эго-документов даже индивидуальных снов не лишена теоретического интереса и такая постановка вопроса: а нельзя ли отнести к эго-документам еще доносы и слухи? Здесь, правда, была бы размыта не столько документальность, сколько авторское начало.

Как бы то ни было, центральное место и повышенная значимость именно дневников в систематике эго-документов достаточно очевидны. Как исторический источник они сразу же стали составной частью анализа всех табуированных тем войны – от жизни под оккупацией и угона гражданских лиц до стратогцида военнопленных и Холокоста.

ПАВЕЛ ПОЛЯН

СИНДРОМ ПИМЕНА,  
ИЛИ ЗОВ ИСТОРИИ...

**7** См. об этом в: Полян П. *Жертвы двух диктатур. Жизнь, труд, унижение и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине*. М.: РОССПЭН, 2002. С. 294–296.

**8** PAPERNO I. *Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreams*. Ithaca: Cornell University Press, 2009; рус. перев.: ПАПЕРНО И. *Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения*. М.: Новое литературное обозрение, 2021.



## Отклик на зов, или Дневники как исторический источник

Понятно, что в разговоре не вообще о дневниках, а о дневниках именно военного времени многое решает то, к какой категории участников войны относится автор. Одно дело – прифронтовая полоса, другое дело – советский тыл, третье – тыл немецкий, то есть оккупированные вермахтом территории страны (а на них оказались примерно 60–65 миллионов человек, то есть около трети всего довоенного населения СССР!). При этом не менее принципиальна и нюансировка, например, разница между различными статусами оккупированных территорий: (а) прифронтовой зоной, где идут упорные бои и где цена жизни военнослужащих армии противника, как и местных жителей «берущихся» и «занимаемых» городов и деревень, особенно низка; (б) ареалом оперативной зоны вермахта, (в) собственно армейским тылом и (г) гражданскими администрациями «третьего рейха» – Рейхскомиссариатами Украина и Остланд. Не меньшее значение имела и временная фаза войны (причем очень многие отмечают переломную роль именно Сталинграда буквально для всего пространства войны – от Средней Азии до вишистской Франции).

Что же тогда объединяет авторов столь разнообразных дневников? Попробуем разобраться.

В повести Виталия Семина «Нагрудный знак “OST”» есть выразительный персонаж, который скрытно ведет дневник. Это «папаша Зелинский» – тайный еврей со станции Журавской, проникшийся доверием к мальчишке, герою повести:

«А когда через несколько дней я пришел к нему на нар, он поразил меня. Он сидел, отделенный ото всех своей подслеповатостью, и глаза его как будто были закрыты. Но он увидел меня, и сразу же узнал, и подвинулся на грязном, пахнущем литейкой одеяле, уступая мне место. Колени мои упирались в соседнюю койку, сквозь доски верхних нар просачивалась соломенная труха. Порывшись под подушкой, он вытащил тетрадь.

– Послушай.

Раскрытую тетрадь он поднес близко к глазам, сел к свету, проникавшему в межкочное пространство. Время от времени продувая нос, он читал о том, как по утрам нас гонят на пересчет, как фельдшер выгоняет больных, записавшихся к врачу, как полицейский бьет пожилого человека...

– Это надо делать уже сейчас, – сказал папаша Зелинский.

Написано у него было немного. Он успел прочитать мне все прежде, чем кто-то подошел и помешал нам. Но я запомнил, как поразил меня этот фокус. То, о чем писал Зелинский, было вчера или позавчера, я сам это видел, слышал, принимал невольное участие... Я был ошеломлен. Нет, это, конечно, было не то чтение,

к которому я привык, а нечто необычайно важное и опасное. И читательская дрожь моя, напряжение были от этого. И еще потому что я, не зная, что скажет дальше папаша Зелинский, перед каждой новой его фразой боялся, не ошибется ли он. И радость от того, что он не ошибался, говорил правильно. И долго еще после чтения я чувствовал себя связанным с чем-то важным и опасным (в то время важное и опасное было для меня единым), что значительнее самой моей жизни. И я не удивился, когда папаша Зелинский показал мне тайник в матрасе, в котором он прятал тетрадку.

– На всякий случай, – сказал он. – Вот здесь она будет лежать.

И, как слепой, не глядя на свои руки, он заправил и загладил постель. С тех пор я всегда помнил об этой тетрадке»<sup>9</sup>.

В те короткие часы, когда люди были предоставлены сами себе, некоторые из них – пусть немногие, пусть единицы – умудрялись вести дневники (а Контарев – даже в разгар боя!). Это тем более поразительно, если вспомнить условия, в которых это происходило. Ведь дневник – это не просто запись пережитого, увиденного, это, в сущности, послание кому-то неведомому, кто развернет когда-нибудь записи, прочтет и, будем сверхоптимистами, поймет, оценит их и, в случае крайнего везения, опубликует. Но, может, развернет, зевнет – и выбросит на помойку! А может, и нечего будет развернуть – мало ли как дневник мог погибнуть или пропасть...

**Дневник – это не просто запись пережитого, это послание кому-то неведомому, кто развернет когда-нибудь записи, прочтет, поймет, оценит их и, в случае крайнего везения, опубликует.**

Для того чтобы вести дневник, нужно, чтобы совпали несколько внутренних и внешних условий, причем каждое из них и само по себе – редчайшая удача. Во-первых, следовало услышать в себе этот зов и этот зуд, почувствовать и принять их настоятельность – и решиться на то, чтобы им отвечать. Во-вторых, найти то, на чём писать, и то, чем писать – тетрадь, бумагу, карандаш, ручку, чернила. В-третьих, придумать, где и как писать незаметно для других (ведь длительное писание обречено на подозрительность окружающих, а что может быть опасней?). В-четвертых, придумать, где и как хранить. И так далее.

Замечено, что пики писания дневников приходятся, как правило, именно на военные годы. Причастность к столь масштабному событию повышает чувство ответственности за его ход,

ПАВЕЛ ПОЛЯН

СИНДРОМ ПИМЕНА,  
ИЛИ ЗОВ ИСТОРИИ...

9 Семин В. *Нагрудный знак «ОСТ»*. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2015. С. 183–184.



толкает нашего «Пимена» на то, чтобы зафиксировать происходящее в преломлении через призму собственной судьбы.

Но подчеркнем еще раз: дневники – это уникалы. Внутреннюю потребность вести их испытывали, конечно, немногие, может быть, считанные единицы, и не у всех, кто испытывал, под рукой были бумага и ручка. Как не было их у Анны Турец – еврейки из Двинского (Даугавпилсского) гетто, чудом уцелевшей в нескольких эстонских и восточно-прусских лагерях и освобожденной 10 февраля 1945 года в Штаблаке. Спустя месяц в лазарете, лишившись нескольких пальцев и едва начав приходить в себя, она первым делом жадно набросилась на бумагу (амбарная книга или несколько чистых листов из нее), чтобы записать свои горестные стихи и страшные воспоминания. Заканчиваются они так:

«Я нахожусь в лазарете в руках медицинского персонала Любимой Красной Армии. Меня оперировали. Я потеряла кончики некоторых пальцев, но пишу и счастлива... Анна Исааковна Турец. 16.ІІ.1945»<sup>10</sup>.

Нечто близкое ощущала и Маша Рольникайте: как только силы вернулись к ней, она тотчас же возобновила дневник. «Я должна рассказать...» – название, не сразу ею найденное, но очень точное.

Этот своеобразный «синдром Пимена» явно испытывали и многие ленинградцы-блокадники. Впечатляет уже само количество дневников, которое породила блокада<sup>11</sup>, – как и их, если можно так выразиться, качество, имея в виду выразительность той страшной информации, что они несли. Девять листочков и девять строк дневника 11-летней Тани Савичевой стали своего рода символом блокады:

«Женя умерла 28 дек. в 12.00 утра 1941 г.  
Бабушка умерла 25 янв. в 3 часа дня 1942 г.  
Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г.  
Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 г.  
Дядя Леша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 г.  
Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 г.  
Савичевы умерли.  
Умерли все.  
Осталась одна Таня»<sup>12</sup>.

Другой подобный случай – Холокост, гетто и лагеря смерти. Просто поразительно, в каких невероятных условиях ве-

**10** Турец А.И. *Круги ада // Советские люди в Европейском сопротивлении. (Воспоминания и документы). Часть II* / Публ. М.Б. Корчагина. М., 1991. С. 372–385.

**11** Восемнадцать блокадных дневников составили ядро антологии «Детская книга войны» (2015).

**12** *Таня Савичева // Свидетельства о ленинградской блокаде. Хрестоматия* / Сост. П. Барскова. М.: Благотворительный фонд поддержки культурного развития детей «Культура детства», 2017. С. 193–197.

лись иные из этих дневников: достаточно вспомнить Залмана Градовского, Залмана Левенталя и Лейба Лангфуса – троих «хронистов» из зондеркомmando в Биркенау, чьи записки, центральные документы Холокоста, были обнаружены после освобождения Аушвица в пепле у печей крематориев<sup>13</sup>. И это не только экстремальный случай коммуникации убитых с живыми, предков с потомками, свидетелей с неосведомленной публикой и судом, но и частный случай тысячелетней еврейской традиции, манифестация одного из древнейших и важнейших еврейских призваний – нести и хранить историческую память.

То сочетание страха и героизма, с которым было сопряжено ведение дневника в нацистском лагере, само по себе не являлось одним лишь страхом или героизмом. Собственно, преодоление страха и есть героизм, но тут сказывалось еще и другое – нечто подспудное и еще более редкое: инстинкт фиксации, обретения и сбережения правды.

Дневники – это как бы записанные на пленку голоса, звучащие и после смерти говорившего. Каждый – на свой лад, каждый – индивидуально и даже одиноко, но все они тем не менее говорят о миллионах и от имени миллионов. Миллионов – неспрошенных, униженных, проданных-перепроданных, битых-перебитых, оголодавших и охолодавших людей, досыта претерпевших и от Гитлера, и от Сталина.

Сколь индивидуальными и автороцентричными ни были бы при этом конкретные дневники, все они осознанно или неосознанно откликаются на общественную потребность в летописании – этом способе получения кардиограммы бытия.

## XX ВЕК: ОТМИРАНИЕ ДНЕВНИКОВ?

Известно немало случаев дневниковых мистификаций, то есть искусственных, сфальсифицированных по идеологическим, меркантильным или иным причинам «дневников». Начиная с «дневника Шуры Голубевой», впервые опубликованного в журнале «Красная Новь» в 1925 году под заголовком «Дело о трупе (из документов народного следователя)»<sup>14</sup>, и вплоть до искусной фальшивки конца 1970-х – «дневников Адольфа Гитлера», изготовленных художником Конрадом Куяу.

**13** Смысловую нагрузку тут несет и сама земля как способ передачи послания нашим и потомкам. Это не просто сухолупная версия бутылки, брошенной в воду, но и индикатор утраты доверия членами еврейского зондеркомmando к польско-немецкому центру сопротивления в базовом лагере Аушвиц (см.: Полян П. *Жизнь и смерть в Аушвицком аду: летописцы из еврейской «зондеркомmando» и их свитки*. М.: АСТ, 2018).

**14** Это «дневник» семнадцатилетней девушки, совершившей самоубийство, вкупе с актом о найденном трупе и показаниями свидетелей. До сих пор непонятно, настоящий это дневник или блестящая стилизация советского писателя Глеба Алексеева, расстрелянного в 1938 году.

ПАВЕЛ ПОЛЯН  
СИНДРОМ ПИМЕНА,  
ИЛИ ЗОВ ИСТОРИИ...





Довольно часто вымышленные дневники, точнее фрагменты из них, подчас большие, встраиваются прозаиками в их повести и романы. Иногда эти вымышленные дневники составляют ядро авторской прозы, как это произошло в «Дневнике Кости Рябцева» Николая Огнева (Михаила Розанова). Из хулигана в комсомольцы – вот его сюжетная траектория.

Вот еще нестандартный случай – Генрих Герлах, автор книги «Прорыв под Сталинградом»<sup>15</sup>. Тут «перегородка» уже скорее жанровая – воспоминания это или роман? (Скорее все же роман.) Автор, участник Сталинградской битвы, оказавшись в советском плену, якобы написал шестисотстраничный роман под названием «Преданная армия» о бессмысленности войн, рукопись которого у него якобы отобрали чекисты. Репатрировавшись в Германию в 1950 году, Герлах попробовал восстановить свое детище – но безуспешно. Однако в 1957-м ему пришла в голову идея: а не попробовать ли сделать то же самое под гипнозом? И вот, глава за главой, его утраченный роман стал выплывать из небытия, после чего был сведен в единое целое и опубликован, стал бестселлером. А спустя годы, уже в 1990-е, составительнице этой книги удалось найти в московском архиве оригинал. Удивительный и уникальный случай – сугубо гипотетический, выскажусь отчетливее: сомнительный, но типологически возможный. Типичнее все же удача, хотя бы частичная, при реконструкции утраченных или изъятых воспоминаний<sup>16</sup> или дневников.

Но дневник – это не только тип эго-документалистики, но еще и литературный жанр: саморефлексирующая разновидность прозаического автобиографического письма или текста<sup>17</sup>. И в этом качестве, как литературный жанр, дневник – это вереница фрагментарных записей, фиксирующих любые впечатления или размышления автора, датированных и расположенных в хронологическом порядке, но не обязательно регулярных<sup>18</sup>. По правилам жанра, дневник всегда открыт и свободен, он с трудом помещается в какие-либо рамки и классификации. В то же время он запросто граничит с другими жанрами, искушая прелестями художественной стилизации под себя, подлинного.

Многое зависит от того, к кому адресуется автор дневника – *urbi* или *orbi*, к широкому кругу незнакомых людей или к узкому кругу близких, к кому-то конкретному или к себе самому.

**15** GERLACH H. *Durchbruch bei Stalingrad*. Kindle Verlag, 2016.

**16** Как это сделал Борис Меньшагин, хотя и встреча второго варианта с первым имеет еще шансы состояться, что имело бы и дополнительный – теоретический – смысл (Меньшагин Б. *Воспоминания. Письма. Документы* / Сост. и подг. текста П. М. Полян. М.; СПб.: Нестор-История, 2019; см. также рецензию на эту книгу в «Неприкосновенном запасе» (2020. № 1(129). С. 280–286. – *Примеч. ред.*)).

**17** В этом коренное отличие дневника от безличной хроники.

**18** См. подробнее: ДЕОТТО П. *Дневник как пограничный жанр* // *Autobiografia. Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian Culture*. 2019. № 8. Р. 11.

Ситуация тождества (или отождествления) автора и читателя довольно типична: перечитывание последних записей нередко предшествует вписыванию новых.

ПАВЕЛ ПОЛЯН

СИНДРОМ ПИМЕНА,  
ИЛИ ЗОВ ИСТОРИИ...

В конце 1980-х Николай Богомолов (и не он один) пришел к неутешительному выводу, что «со второй половины двадцатых годов проблема дневниковости практически теряет свое значение»<sup>19</sup>. Почему? Потому что, полагал он, в атмосфере сталинских репрессий каждый дневник превращался в губительный для автора вещдок<sup>20</sup>. Отсюда логически безупречная установка: новых дневников не вести, старые уничтожить! И отсюда же гипотеза об умирании, точнее об отмирании, дневника как жанра. Слава богу, это не так. Уже в 2019 году Николай Богомолов пишет:

«Простое перечисление показывает, что если годы сталинского владычества и не были годами дневникового бума, то все же количество введенных за эти четверть века в научный оборот документов, относящихся не к началу XX века, а к его опасным для документов годам, значительно увеличилось.

Без особенной системы назову такие внушительные и в конце 1980-х годов практически никому не известные многотомные дневники М.М. Пришвина, многолетние и весьма обширные дневники А.К. Гладкова, считавшийся пропавшим дневник М. Кузмина 1934 года, поздние дневники Андрея Белого, дневники Д. Хармса, поздние записные книжки А. Ахматовой, которые многие склонны считать ее дневником, не получившим окончательного оформления, записи П.Н. Лукницкого, фиксировавшего и разговоры с Ахматовой (т.н. Акумиана), и собственно дневники: небольшой неожиданно обнаружившийся фрагмент дневника М.А. Булгакова и настоящий дневник его жены, обширный дневник поэтессы В. Малахеевой-Мирович, дневники малоизвестного литератора С.К. Островской и Н.Н. Пунина, поденные записи Д. Самойлова, дневники Б.А. Садовского и Евгения Шварца»<sup>21</sup>.

И этот список – у Богомолова ограниченный одной лишь писательской братией – можно продолжать и продолжать: нет, долго жить дневники не приказали!

## ДНЕВНИКОВЕДЕНИЕ: «Я» VERSUS «МЫ»

Никакая работа, так или иначе посвященная дневникам на русском языке, не сможет пройти мимо двух монументальных и яр-

**19** Богомолов Н.А. *Дневники в русской культуре начала XX века // Тыняновский сборник. Четвертые Тыняновские чтения*. Рига: Зинатне, 1990. С. 156.

**20** И тому немало примеров. В частности, расстрел Николая Ангарского (Клестова) после того, как он сдал в архив свой дневник.

**21** Богомолов Н.А. *Писательские дневники XX века: взгляд через четверть столетия // Avtobiografija. Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian Culture*. 2019. № 8. С. 85–96.



ких книг западных ученых: Йохена Хелльбека «Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи»<sup>22</sup> и Ирины Паперно «Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения».

Монография Хелльбека, что не редкость для западных историков-русистов, принципиально и даже нарочито концептуальна. В этом ее немалая сила, но в этом же и ее изрядная слабость. Иные уподобления крайне неожиданны и интересны, как, например, сближения императивов средневековых пуританских дневников с профаническими призывами 1920-х вести дневники, адресованными то солдатам (на нескольких листках «Для заметок» в казенных «Книжках красноармейца»), то рабочим «Метростроя», то даже школьникам (по рекомендациям педологов). В таком случае и у полевых дневничков геологов, и у историй болезней в поликлиниках неплохие шансы быть включенными в «дневниковый дискурс».

Концепция Хелльбека построена на нескольких расширительных допущениях. Весь огромный жанр дневников и его эмпирический корпус растянуты им между двумя лишь мачтами – «Я» и «МЫ». В результате имеем одну простенькую «матрицу революционной субъективации», смысл которой для каждого дневника сводился бы к ответу на вопрос: а как же сдуваемся до неразличимости «Я» вписаться теперь в эпоху большого «МЫ»?<sup>23</sup>

Столкнувшись в нескольких ярких дневниках с интереснейшим феноменом добровольно-искреннего, по мнению автора, подчинения этого «Я» интересам «МЫ», то есть капитуляции личности перед победившим в СССР классом, Хелльбек принимает этот феномен за мейнстрим – и выдает в качестве доминанты. При этом он проводит четкую грань между классическими (старорежимными) и советскими дневниками. Первые якобы умерли вместе с революцией, а вторые – это дневники некоего «Нового Человека», на крупе индивидуальности которого вдруг вырос здоровый горб коллективизма, укрытый попонкой заединности. Все дореволюционное и индивидуальное отныне не враждебно даже, а неприлично. Авторы же дневников якобы соревнуются если не в экзамене на лояльность новой власти, то в изобразительности своего пути к этой лояльности. Простая же эмпирическая констатация, что дневников при советской власти писать ничуть не перестали, интерпретируется Хелльбеком как гимнастика лояльности, как некая коллективная, а не личная интроспекция. Автор рассуждает о неких идеальных советских дневниках, к которым якобы стремились с обеих сторон как хронисты, так и государство, чуть ли не

22 HELLBEC J. *Revolution on My Mind. Writing a Diary under Stalin*. Cambridge; London: Harvard University Press, 2006; рус. перев.: ХЕЛЛЬБЕК Й. *Указ. соч.*

23 ХЕЛЛЬБЕК Й. *Указ. соч.* С. 13.

культивировавшее это занятие – в видах воспитания сознательности масс, как «улучшенного издания человека»<sup>24</sup>.

Против такой концепции восстает чуть ли не вся эмпирика третьей (самой теоретической, кстати сказать) главы книги Хелльбека: упоминаемые в ней многочисленные образчики дневников настолько разнообразны и индивидуальны, что явно не вписываются в выстроенную конструкцию, но трактуются как отдельные пережитки или досадные исключения. Предвзятость концепции Хелльбека прежде всего в том, что систематике и типологическому разнообразию дневников он противопоставил их плоскую иерархию и один из вылупившихся при этом типов объявил не простым, а золотым, то есть главенствующим.

Ирина Паперно в книге «Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах», не вступая в полемику с концепцией «советского субъективизма» Хелльбека, по сути, иллюстрирует торжество прямо противоположной парадигмы. Паперно отказывается от теоретизирования (за исключением попытки обосновать придание снам статуса эго-документов<sup>25</sup>) и сосредотачивается на эмпирике. Жанрово ее эмпирическая база несравненно шире: это не только дневники, но набор жанров эго-документов, а именно, мемуаров, дневников и (*sic!*) снов. Суть различия между воспоминаниями и дневниками Паперно видит в очевидном наличии читательского адресата у первых и в его отсутствии (точнее – в необязательности наличия) у вторых. При этом она стремится к работе не столько с текстами эго-документов, сколько с некими единствами текстов и судеб их авторов. Такой подход, по ее убеждению, служит качественно му проникновению во внутренний мир советского человека, а точнее – советской интеллигенции (к которой, по праву рождения и долгого проживания в стране не может не относиться себя и сама Паперно).

Освоив и осмыслив большой эмпирический массив эго-документов советского времени, увидевших свет между 1985-м и 2005 годом, Паперно выстроила книгу следующим образом. Часть первая – это прогулка глоссандо по всему корпусу собранных материалов. Часть вторая – детальный анализ двух отобранных эго-документов, представляющихся Паперно ключевыми для понимания эпохи. Это дневники Лидии Чуковской (об Анне Ахматовой, но не только) и полуграмотной Евгении Киселевой за 1941–1971 годы (из которых «первая тетрадь» и не дневники вовсе, а классический мемуар). Часть третья – экзотическая: сны и их анализ.

**24** Выражение Льва Троцкого.

**25** Страницы, посвященные снам (Андрея Арциловского, Николая Бухарина, Михаила Пришвина, Вениамина Каверина, Анны Ахматовой и Ольги Седаковой), сами по себе интересны, но их причисление к эго-документам, как мне кажется, не убедительно.

ПАВЕЛ ПОЛЯН

СИНДРОМ ПИМЕНА,  
ИЛИ ЗОВ ИСТОРИИ...



Любопытно, что дневники Киселевой как раз не противоречат концепции Хелльбека (правда, они из другой эпохи, нежели та, на которую он опирался). Но, как бы к концепции Хелльбека ни относиться, здесь не место ее оспаривать. Даже если допустить, что для некоторого множества межвоенных советских дневников она сколько-нибудь эвристична, то на материале дневников военного времени эта теория не работает. Дневники – уж не перед лицом ли возможности смерти своих авторов в любой момент? – дружно отказывались перестраиваться с «Я» на «МЫ». Они даже не заметили выписанного им «новорежимного» коллективизма Хелльбека и остались «в плену» у традиционных индивидуализма и эгоцентризма.

### **ДНЕВНИКИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ: АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭМПИРИКИ**

Да и может ли устоять какая бы то ни было славистическая концепция против таких любви, голода или страха смерти? Не может – о чем дружно и в голос свидетельствуют все дневники, включенные в мою книгу «“Если только буду жив...”: двенадцать дневников военных лет»<sup>26</sup>, эмпирическую основу которой составили уникальные эго-документы военного времени. Они написаны представителями широкого типологического спектра участников и жертв войны: двумя красноармейцами действующей армии (особист Иван Шабалин и штрафник Александр Контарев), одним коллаборантом (Георгий Томин), тремя военнопленными (Анатолий Галибин, Сергей Воропаев и Василий Пахомов), четырьмя оstarбайтерами (Александра Михалева, Василий Баранов, Анатолий Пилипенко и Борис Андреев) и двумя, пережившими оккупацию (Николай Саенко и Тамара Лазерсон – уцелевшей узницы гетто). Эта комбинация, разумеется, не претендует на охват всех категорий участников и жертв войны, но все-таки задает широкий и представительный круг.

Сами по себе такие документы – необычайная редкость. И кто теперь подсчитает, сколько дневников *не* было написано из страха ляпнуть что-то не то или из-за элементарного отсутствия бумаги и карандаша! И сколько было написано, но пропало, в том числе по воле самих авторов или их близких в какую-то недобрую послевоенную минуту?

То, что в этой книге встретились дневники особиста и военнопленного, красноармейца и коллаборанта, отражает и выражает глубокие сдвиги в восприятии Второй мировой войны и Великой Отечественной войны как ее части. Общепринятая

**26** См.: Полян П.М. «Если только буду жив...»: двенадцать дневников военных лет. М.: Нестор-История, 2021.

и общепонятная оппозиция «свой/чужой», не утрачивая своего первичного смысла, перестает быть определяющей. Вперед выдвигается императив непредвзятого эмпирического знания и научного осмысления фактов.

ПАВЕЛ ПОЛЯН  
СИНДРОМ ПИМЕНА,  
ИЛИ ЗОВ ИСТОРИИ...

Охарактеризуем дневниковую подборку «Если только буду жив...» подробнее. Где, например, находятся их оригиналы? Они выявлены только для десяти случаев из двенадцати. Шесть находятся в России, четыре – за рубежом: Тамары Лазерсон – в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне (США); Анатолия Пилипенко – в Гаттингене (Германия); Сергея Воропаева – в Костанае (Казахстан), Георгия Томина – в Вадуде (Лихтенштейн). В случаях Ивана Шабалина и Анатолия Галибина местонахождение оригиналов не установлено, так что при публикации приходилось довольствоваться копиями. В двух случаях сталкиваемся с самостоятельным хранением в российских архивах авторитетных копий оригинала: дневники Сергея Воропаева (Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) и Архив Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации) и Николая Саенко (ГАРФ и Государственный архив Ростовской области).

Больше всего источников публикуемых текстов хранится в ГАРФ (Шабалин, Воропаев, Пахомов, Саенко), на втором месте – Архив Военно-медицинского музея Министерства обороны (Галибин и Воропаев). Отметим, что многие из них стали доступны благодаря процессам гуманитарного урегулирования и компенсации за принудительный труд, растянувшимся на целое двадцатилетие (Баранов, Пилипенко, Пахомов). Да и сам архив российского фонда «Примирение и взаимопонимание» со временем был передан в ГАРФ.

Большинство дневников хранятся в государственных архивах – российских (Шабалин, Галибин, Саенко, Пахомов), казахстанском (Воропаев), американском (Лазерсон) и немецком (Пилипенко). Часть дневников пребывают в частных руках – у родственников (Михалева, Андреев) или у других неслучайных лиц (Контарев, Баранов, Томин).

Разброс дневников по объему очень большой. Самые длинные – дневники Михалевой (20 печатных листов<sup>27</sup>) и Контарева (11,5 листов). Далее следуют дневники Саенко (5,5 листов), Баранова и Лазерсон (около 4 листов), Андреева (2,5 листа), Воропаева (2 листа), а также Томина и Пилипенко (по 1,5 листа). Три дневника, наоборот, лаконичны – менее чем пол-листа: ведение двух из них было оборвано гибелью авторов (Шабалина и Галибина), а третий представлен предположительно только фрагментом (Пахомов).

**27** Одному печатному листу соответствуют сорок тысяч печатных знаков, считая пробелы.



С объемом нестрого коррелирует длительность ведения дневника. Самые «долгоиграющие» – Михалевой (начат в 1939 году, закончен в 1949-м: охват десять лет), Лазерсон (1942–1946 годы, охват пять лет) и Контарева (1943–1946 годы, охват четыре года). Почти на два года (точнее, на 23 месяца – столько длилась немецкая оккупация Таганрога) растянулся дневник Саенко, на 17 месяцев – Андреева. Семь дневников не охватили и года: Воропаев (11 месяцев), Пилипенко (9), Томин (6) и Баранов (около 5). Самые короткие – дневники погибших Шабалина и Галибина (по два с небольшим месяца), но еще короче – фрагмент дневника Пахомова (полтора месяца).

Другой существенный параметр – ритм дневника. Одни (условно – «хронисты») пишут практически ежедневно, каждый пропуск для них – это ЧП, обусловленное чем-то непреодолимым. Таковы, например, Саенко и Лазерсон. Другие пишут нерегулярно или крайне редко, скажем, раз в неделю (так Андреев мог писать и в другие дни, но всенепременно писал в воскресенье) или даже раз в месяц (например Пахомов). Нередко ритм был и рваным, и смешанным: поначалу – почти ежедневно, со временем – все реже и реже, под конец – и во все эпизодически.

По своему социальному и поселенческому происхождению большинство наших авторов – из крестьян: горожанами, хотя бы номинально, в довоенные годы были только четверо: Лазерсон (Каунас), Саенко (Таганрог), Пахомов (Ленинград) и Шабалин (Улан-Удэ). Возможно, и Томин, чье довоенное прошлое довольно туманно, но выдает скорее городские манеры.

Отметим смелость авторов большинства дневников. Они писали для себя и практически без внутреннего цензора, то есть без просчета рисков в том случае, если бы дневники попали в чужие и недоброжелательные руки. Благодаря этому каждый из дневников содержит колоссальный набор интереснейших фактов и деталей, причем некоторые мотивы являются сквозными едва ли не для всех из них.

Главенствующим, буквально доминирующим инвариантом являются физические и моральные страдания авторов дневников. Чаще всего это голод и холод, но также различные унижения со стороны врагов, а нередко и своих. Общим для большинства дневников являются описания попыток приспособиться к реальности и выжить. Для большинства это воровство продуктов, но для некоторых это изготовление чего-либо на продажу – например, игрушек (Томин и Пахомов) или обуви (Воропаев). Интересно, что такие полярные типы, как Томин и Контарев, «сошлись» на вовлеченности в самостоятельность своих частей. Устойчивый инвариант прослеживается в подмножестве дневников военнопленных и оstarбайтеров:

это мимикрия этих двух статусов. Многие окруженцы и военнопленные по понятным причинам «косили» под гражданских (перед угоном) или под остарбайтеров (перед репатриацией). Среди авторов двенадцати дневников еврейка только одна – Лазерсон. Тем не менее «еврейская тема» так или иначе встречается и у многих других – Баранова, Контарева, Михалевой, Пилипенко и Саенко.

Обратимся к инструментарию дневников. Характерным приемом, встречающимся в нескольких из них, является, например, «внутренний календарь» летописца, его индивидуальные «юбилеи»: годовщины ранения, попадания в плен или угона в Германию (Андреев, Воропаев, Галибин, Контарев, Михалева, Лазерсон). Такие календарные метки, кстати сказать, часто позволяют реконструировать многие важные биографические вехи и детали, хронологически выходящие за рамки самих дневников.

Другой типичный прием – это «вставные новеллы», небольшие воспоминания, добавляемые в тело дневника под той или иной датой, часто с заглавием, но как бы постфактум (Пахов, Воропаев). В них описываются события, непосредственно предшествующие дневниковой хронике, отчего нередко они собираются или в самом начале, или в самом конце дневника, тем самым как бы удлиняя собой его временной охват (Пилипенко). Многие авторы вставляли в дневник песни, тексты которых чаще всего представляют собой примитивные переделки текстов популярных «хитов» того времени (Михалева, Пилипенко, Контарев). Иногда это не новеллы, а своего рода «внутренние письма», вставляемые внутрь дневниковой записи. В нашей подборке это характерно для Воропаева, даже подписывавшего такие послания своим именем (Сергей) и адресовавшего их кому-то очень конкретному (судя по всему, отцу). Для Михалевой таким адресатом нередко служит сам дневник, выступающий и ее *alter ego*, и суррогатным другом или доверенным лицом. Это сближает ее дневник с дневниками Тамары Лазерсон и Анны Франк: Тамара обращается к своему дневнику «на ты» и как бы разговаривает с ним, Франк придумала для своего дневника имя «Китти».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В военный период, во время боевых действий, цена человеческой жизни резко падает. И если задачей воюющих друг с другом государств или их коалиций была победа во что бы то ни стало, то у индивидуальных участников войны задача явно другая: не погибнуть, исполняя свой долг, уцелеть, выжить.





А нередко еще и не дать погибнуть близким людям – членам семьи, друзьям, землякам. В этом считается универсальная генетическая программа индивидуума, заряженного на продолжение своего вида и рода.

Все двенадцать рассмотренных дневников являют собой единое поле битвы между двумя этими установками – государственно-патриотической («Умри ж за родину, герой!») и общечеловеческой («Ни в коем случае не умереть – выжить!»). Интересно, что в этой оппозиции по-своему слышны отголоски опорной дихотомии «Я» и «МЫ», вокруг которой теоретизировал Хелльбек. В нее утыкался каждый автор дневника, но в особенности военнослужащие, включая коллаборанта и военнопленных. Это и понятно: в армии эта оппозиция кодифицирована, обставлена уставами, негласными традициями, пропагандой и тем самым априори сдвинута в пользу безоговорочного «МЫ», что на практике означает обязательство умереть, отдать жизнь – пусть не «за Сталина», но хотя бы «за Родину».

Однако в реальной жизни другие факторы – такие, как инстинкт самосохранения, рассудочность и даже просто возраст, – толкают в сторону «Я» и сбережения жизни. И возникает вопрос: допустимо ли это ценой предательства, например, или ценой нарушения присяги или устава? К тому же возможности авторов этих эго-документов самим определять ход своей жизни более чем условны и ограничены. Название книги – «Если только буду жив...» – и есть тот результирующий компромисс и итог, к которому – каждый по-своему, или выжив, или погибнув, – пришли все двенадцать авторов этих дневников военного времени.

И десятеро из двенадцати выжили.